

ЭВОЛЮЦИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. ОПЫТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА

И.В. СОХАНЬ

Человечество начинается с кухни
К. Леви-Строс

Философская рефлексия над гастрономическим оказывается последней стадией его онтологизации – ведь в структуру гастрономической культуры входит и рефлексия над ней – первично данная в форме экспертного знания (кулинарная книга), затем как анализ отдельных форм репрезентации гастрономического специализированными областями знания, и, наконец, философская концептуализация, целостно раскрывающая природу гастрономических практик и их влияние на человеческую идентичность – порой настолько скрытое, что, если специально не обратить на него внимание, оно и не очевидно, однако не менее значимо. В предлагаемой статье предпринимается попытка рассмотреть современное состояние гастрономической культуры, настолько противоречивое, что впору говорить о ее деконструкции. Для этого необходимо обратиться к базовому культурному коду, инициировавшему дальнейшее развитие гастрономической культуры – к табу на каннибализм, а затем проанализировать и актуальные сегодня процессы от «фаст фуда» до связанной с ним новой системы телесного нормирования.

Каннибализм как культурное тождество, из которого ничего не рождается

Табу на каннибализм – тема совсем не новая для культурфилософского дискурса – как и табу на инцест, табу на каннибализм стало краеугольным камнем человеческой культуры, обеспечив установление необходимо непроницаемых границ между миром природного и миром нарождающегося человеческого, которое, таким образом, обозначило свое принципиальное отличие от природного. Культурное различие, которое лежит в основе как человеческой культуры в целом, так и отдельных ее форм (в данной статье речь идет именно о гастрономической культуре), – это различие *свое – чужое*. Человек маркирует свое как то, на что распространяются базовые нравственные запреты и к чему применяются табу, а чужое как то, по отношению к чему, наоборот, не действует ограничительное законодательство и что может быть объектом приложения ни чем не сдерживаемых интенций бессознательного, которые вне налагаемых на них сублимирующих форм канализируются непосредственно – реализуются напрямую – как желания пищевые и сексуальные. В этом смысле понятно, почему быть человеком – это не быть каннибалом – человек не употребляет

в пищу себе подобного как того, кто находится под охранительным действием антропологической тождественности. Если исходить из того, что пища, по определению Э. Левинаса, есть проникновение *иного в тождественное* и становление этим иным, то отказ от каннибализма на заре эволюции понятен еще и из принципа возможностей дальнейшего развития: отказ от поддержания антропологической тождественности простым путем — путем употребления в пищу *тождественного*, инициировал несопоставимо более сложный путь, когда в пищу употребляется *иное*, и отношение к этому *иному*, для того, чтобы оно стало человеческой пищей (выращивание, кулинарная обработка, первичная гастрономическая обрядность (далее — ритуал, этикет) и т.д.)¹ задало путь культурного прогресса. Так, человеческая пища — это трансформация *иного в тождественное*, а нечеловеческая, каннибалистический вариант еды — переход тождественного в тождественное с последующим усилением последнего.

Рассматривать табу на каннибализм в отрыве от другого базового табу — табу на инцест, невозможно, так как смысловая структура и механизмы реализации, причины и последствия подтверждения или нарушения этих двух табу абсолютно идентичны. Бессознательное, канализирующееся как базовые желания секса и пищи, без ограничений в форме структурирующего его *закона*, отчуждается в *реальное*, а не интегрируется в символические культурные формы, совокупность которых является матрицей для душевной и духовной жизни. Иначе говоря, вне действия табу человек есть лишь тело как инструмент безграничной реализации интенций бессознательного, поэтому в психоаналитических работах, раскрывающих проблему инцеста, отмечается инфантильность сознания и нерелексивное слияние с желанием, требующим реализации вне опосредования культурой, что составляет суть онтопсихологического состояния человека, пережившего инцестуальное воздействие.

Захваченность бессознательным — это и симптом современного социокультурного состояния, когда характерная для массовой культуры маркетизация символического пространства привела к тому, что оно утратило свой исконный законодательный характер — сменило его на игровое состояние *правила*². В результате этой смены абсолютный характер табу пошатнулся, теперь он продолжает соблазнять возможностью растабуирования и, казалось бы, последующего абсолютного освобождения желания. Таким образом, захваченность бессознательным проявляется и в актуализации сонма зависимостей, которым подвержен современный человек: некоторые из них существуют в качестве перманентных спутников общественного прогресса — такие, как алкоголизм, наркомания. Некоторые же оказались результатом именно сегодняшнего состояния культуры — это разнообразные пищевые расстройства — анорексия, булимия, ожирение — провоцируемые конфликтным посланием, циркулирующим внутри массового

общества: с одной стороны, идеалы гламура и выпестованные им стандарты телесности требуют худобы в качестве безусловной ценности, а с другой стороны, вездесущая реклама непреклонна в своем соблазнении: «потребляй», потребляй активно, вкушай само счастье. Такая антиномия приводит к смене стандарта тела заключенного, о котором писал М. Фуко в «Надзирать и наказывать», полагая под таким стандартом минимизирующуюся плоть с удваиваемой душой — в современных условиях она, напротив, сменяется удваивающейся телесностью с минимизирующимися душевными структурами.

В исследовательской литературе относительно проблемы табу часто наблюдается искушение маркировать его смысл в качестве только относительно, а не абсолютно важного для становления человеческой культуры³, видеть в табу даже некоторую антропологическую ограниченность, выход за рамки которой может послужить поискам свободы и формированию нового типа человека. Такая позиция, трудноуловимая, представленная как легкий флер исследовательского настроения, на самом деле возможна как искушение самой темой — табу действительно является антропологическим контрапунктом, за которым, однако, не начинается, а заканчивается человеческая свобода. Что же касается собственно каннибализма, то страх перед ним как страх перед сущностным нарушением идентичности имеет архетипическую природу: каннибалистические сюжеты распространены в сказках и мифах и имеют при этом выраженные моральные коннотации — как маркировка природы абсолютного зла. Если современный человек и искушает себя возможностью каннибалистического растабуирования, то, также как и инцест, это искушение связано с отказом от трансцендирования и желанием впасть в становление тождественным. Наиболее упреждающими в искушении растабуирования вообще оказываются психоаналитические исследования, где последствия инцеста рассматриваются в качестве исключительно разрушительных для антропологической идентичности — так фиксируется прямая и абсолютная связь наличия табу для аутентичности человеческих форм бытийствования.

Оправдание каннибализма?

И инцест, и каннибализм не были практиками, преодоление которых имело очевидный смысл, что и подтверждают спорадически возникающие вопросы: почему же все-таки именно так? Табу на инцест и каннибализм является залогом построения символического пространства в культуре — при нарушении табу граница между реальным и символическим не формируется: в отношении гастрономической культуры это тупик развития — человек продолжает есть себе подобных, вместо того, чтобы в процессе приготовления пищи, отчуждая свое бессознательное в приготовляемое, символически кормить собою, и в такой же символической форме коммуници-

ровать с Другим. Сами механизмы отчуждения и сублимации, по сути, являются условием существования любых культурных форм и культуры вообще. Таким образом, и гастрономическая культура имеет одним из своих структурирующих смыслов, возможность отчуждения в материю мира своего бессознательного автором приготавливаемого и, таким образом, символизации каннибалистических желаний в процессе приготовления материального субстрата, становящегося пищей. В некотором смысле, вкладывая свое время и энергию, интенции своего бессознательного в пищу и разделяя ее в процессе трапезы, все питаются друг другом – только это происходит на символическом уровне (ведь, в отличие от символического инцеста, который остается, безусловно, злокачественным явлением, символизация каннибалистических желаний означает преодоление негативного потенциала каннибализма, и прослеживается во многих гастрономических ритуалах).

Анализируя каннибализм как реализацию базисного желания взаимодействовать с миром – желания *пожирать* – по сути, желания быть всем тем, что просто своим наличием угрожает идентичности рождающегося Я, Ж. Бодрийяр моделирует бинарность положительного-отрицательного в пище для того, чтобы сравнить каннибалистический акт и акт еды после культурного запрета на каннибализм: «Такое пожирание есть социальный, символический акт, направленный на поддержание сети связей с пожираемым мертвецом или врагом; как известно, в обоих случаях это всегда по-своему достойный человек, кого попало не пожирают, это всегда знак почтения, сакрализации. Это мы презираем то, что едим, можем есть только презренное, то есть мертвечину, неодушевленное животное или растение, обреченное на чисто биологическое усвоение; соответственно и антропофагию мы мыслим как нечто презренное – в силу своего презрения к тому, что мы едим, к самому акту еды и, в конечном счете, к своему телу»⁴. Так, в каннибалистическом акте обнаруживается определенная этика взаимного узнавания друг друга и признания Другого как части своего бытия, в питании переходящего из потенциального для субъекта бытия (бытие Другого – действительное для него, потенциальное для меня) в действительное для субъекта (действительное для меня, потенциальное для Другого). Бодрийяр рассматривает каннибализм как выход за рамки *отношения власти*, реализуемого в пище, когда поглощается часть мира, изначально рассматриваемая в качестве онтологически более низкой и пригодной для биологического усвоения и продления жизни человеческого тела. Так, пища участвует в социальном и символическом обмене, в общегрупповом обмене вещев, и каннибализм оказывается глубоко социальным актом, а вовсе не постыдным утолением голода нетабуированного бессознательного: «Это социальные акты, всецело соответствующие механизму символической обязанности»⁵.

Насколько можно признать *отношение власти* устойчивой онтологической структурой акта питания? Рассмотренная позиция объяснения каннибализма основывается на том, что каннибализм есть взаимодействие между равными, когда поедание оказывается действием подтверждения равенства, контекстуально оформляемым как уважение Другого и бесконечное продление его бытия в себе, или, что равноценно, — предложение своего бытия Другому. Преодоление же каннибализма выводит в ситуацию онтологической иерархии — человек питается тем, что имеет более низкий онтологический статус, т.е. природным сущим. Однако следует предположить, что все практики оформления этого сущего для того, чтобы оно перешло в формат пищи, оказываются практиками достраивания до изначального онтологического равенства — это ведь не только и не столько собственно кулинария (от базовой обработки пищи огнем до национальных вариантов кухни), но и вся гастрономическая символизация и ритуалистика. Поэтому, как бы мы ни рассматривали каннибализм, он базируется на сохранении псевдоантропологического тождества, на неразомкнутом круге универсального обмена друг другом, когда сфера свободы и культурного творчества остается недоступной и закрытой. Так отсутствие табу удерживает культуру в замкнутом, закапсулированном виде — время циклично, каждая новая форма точно воспроизводит старую⁶.

Таким образом, гастрономическая культура имеет своим обязательным и универсальным условием табу на каннибализм и далее сама его предотвращает, развивая и реализуя (в конечном счете) механизмы конвертации бессознательного в кулинарные технологии и гастрономический этикет. Поэтому многие формы гастрономического предполагают наличие некоторых коннотаций и отнесения к символическому каннибализму как следствие купирования каннибализма реального. Если не принимать во внимание современную культурную ситуацию с ее тенденциями растабуирования культуры в целом (проявляющимися в отмене закона и введении игры правила), то каннибализм как регресс бессознательного начинает возвращаться в экстремальных ситуациях голода, когда исчезает пища как материальный субстрат, объект-носитель отчужденных интенций бессознательного — гастрономическая культура уничтожается под влиянием дефицита, и голод активизирует бессознательное, извлекая его из-под рамок табу. Что же касается сознательных случаев каннибализма, которые случались при полноценных культурных условиях, то это всегда следствие злокачественных изменений в индивидуальной психике, следствие символического дефицита у носителя таких детабуирующих действий.

Роль табу на каннибализм в развитии гастрономической культуры

Как было отмечено выше, табу на каннибализм имеет ряд следствий, важных для становления гастрономической культуры с ее

многообразным функционалом, прежде всего как играющей непосредственную роль в формировании идентичности человека, не только сугубо телесной идентичности, но и ряда антропологических характеристик в целом. Человек стал подтверждать свою человечность не употреблением в пищу себе подобного, а поеданием природного сухого, предварительно прошедшего различную обработку: обработка трудом (выращивание пищи), подготовка к вкусовому многообразию: различные кулинарные сочетания, маркирующие телесную идентичность. Структура приготовления пищи включает в себя также и взаимодействие пищи и того, кто ее приготавливает. В этом плане приготовление еды и можно рассматривать как сублимирующий механизм — отчуждения в пищу онтологического ресурса повара, который затем также потребляется едоком. Без табу на каннибализм человек так и остался бы в реальном, с запертой дверью в пространство символического, а значит — в пространство культуры. Замыкание в реальном обнаруживает отсутствие необходимости создания символических форм (а также применения актуальных культурных форм) для реализации бессознательного с последующими интенциями выхода в пространство символического культурного обмена.

Табу на каннибализм, согласно логике, появляющейся только после отмены инцеста и каннибализма, образовало дистанцию между субъектом и его потребностью в пище. Эта дистанция и стала онтологией гастрономического, которая начала заполняться культурными значениями. Пища оказывается не непосредственной данностью, а возможностью, которую оформляет определенный культурный код. Гастрономическая культура, которая девальвируется до нейтрализации (в «фаст фуде», прежде всего), влияет и на остальные структуры культуры, дезориентируя и человека: «...человек живет в опасном, слабо контролируемом мире с опасными, слабо контролируемыми собственными желаниями. На клиническом уровне это находит проявление в разнообразных фобиях и неврозах побуждений, таких как алкоголизм, наркомания, некоторые формы психогенного ожирения и клептомания»⁷. Отсутствие табу поддерживает приоритет бессознательного в его праве на реальность. Гастрономическая культура (и содержащиеся в ней практики нормирования телесного опыта) оказывается бессильной и отступает перед натиском простейших форм взаимодействия человека с миром и желанием есть прежде всего.

Гастрономический соблазн, или «Счастье есть — его нельзя не съесть»

В современном мире закон сменяется правилом⁸ — его игровое состояние можно принять и можно отменить, его неуниверсальности и особая спорадическая логика размывают гарантии в любом взаимодействии, в том числе и в гастрономическом. Фактор закона в традиционной гастрономической культуре представлен следующим:

это качество пищи, связанное с природным происхождением, и кулинарные практики ее видоизменения, характерные для данной культурной традиции, и ее однозначность в отношении нормирования предпочтительного телесного опыта. В традиционных культурных рамках пища имела в своей основе природный субстрат, и даже преобразованный в процессе кулинарного творчества (которое, возможно, и следует рассматривать как искусство максимального видоизменения изначальных ингредиентов) он, тем не менее, мог быть узнан и отсылал к аутентичному природному источнику и гарантировал качество производимых с помощью пищи телесных качеств в зависимости от социокультурных обстоятельств, но главным образом — здоровья и удовольствия как маркеров положительного телесного опыта. С таким типом пищи, как «фаст фуд», все обстоит иначе. Вопреки существующей позиции, согласно которой «фаст фуд» — это просто быстрая еда, существовавшая в таком виде во все времена, следует признать, что «фаст фуд» — это пища, невозможная без пищевой индустрии. Это еда, прошедшая обработку не домашней кухней, а некими анонимными для ее потребителя силами в какой-то ячейке всего комплекса пищевой индустрии — от химической лаборатории, где производятся, к примеру, вкусы, до цеха, где создаются полуфабрикаты, почти готовые к употреблению. Символом «фаст фуда» является, конечно, Макдональдс с его, по общему признанию, культурно нейтральной пищей, устанавливающей норму телесного опыта в самых неожиданных и экзотических, с точки зрения пищевого потребления, условиях; с его тенденцией к инфантилизации сознания едока посредством тотальной заботы; с его установкой на игровую модель в гастрономическом контексте. Пища, прошедшая обработку пищевой индустрией, не отсылает к своему природному субстрату, но постулирует наличие некоего имитационного содержания — например, есть некоторый вкус, привитый данной субстанции, оформленной как еда, но этот вкус имеет искусственное происхождение и его восприятие связано исключительно с гастрономической памятью едока. Таким образом, в качестве такового он не наличествует и не определяет данную еду, но существует как активатор кулинарных ощущений для конкретного человека — такая пища имеет природу симулякра. Если на заре гастрономической истории отказ от каннибализма и возможность обработки пищи огнем-логосом определили ее дальнейшее развитие, то на стадии «фаст фуда» можно фиксировать ее некоторое завершение, так как возможность обработки природного сущего закончилась тем, что оно полностью исчерпало себя, став, во-первых, источником для получения универсального субстрата, формируемого в пищу, а, во-вторых, его вкусовые сочетания зафиксировались в гастрономической памяти человечества, и теперь могут быть оттуда заимствованы искусственным образом. По сути, это и есть «фаст фуд» — пища, где слом закона выглядит как разрушение

связи между природным сущим как потенциальной едой и вкусовыми сочетаниями, ею порождаемыми. В «фаст фуде» пища является скорее формой, содержание которой оказывается преимущественно неизвестным, ведь даже ее вкус не указывает на это содержание — потребителю здесь остается смириться с поеданием анонимности, которую он онтологизирует в своем теле, причем самым непредсказуемым образом. Впрочем, в одном он может быть уверен: это пища счастья, как намекает вездесущая реклама, остальные же ключевые для гастрономического кодирования оппозиции здесь разрушены, и прежде всего разрушена оппозиция свое — чужое, пища каннибала — пища неканнибала. С этим связаны и так называемые пищевые хорроры цивилизации — уже не только и не столько голод и нехватка пищи, сколько ее изобилие при цене этого изобилия — какое на самом деле содержание заключено в потребляемой гастрономической форме и что может произойти с идентичностью после ее потребления. Здесь также необходимо обратить внимание и на такую проблему: если приготовление пищи, как было отмечено выше, есть отчуждение в пищу бессознательного автора приготавливаемого, и, с этой точки зрения, все кормят всех собою, сублимируя каннибалистические интенции в символический порядок гастрономической культуры, то, что происходит, когда предпочтительной оказывается готовая еда? Кто кого кормит и как это изменяет коммуникативные схемы и символический обмен помимо очевидной девальвации самого гастрономического?

«Фаст фуд» стал пищей, весьма удобной для рекламы, конвертирующей смутные желания потребителей в конкретные товары, потребление которых отождествляется со счастьем. В этом смысле из всего спектра покупного счастья наилучшим является то, что можно съесть. Поэтому гастрономический соблазн так привлекателен не только с точки зрения непосредственной данности и быстроты удовольствия, но и с точки зрения обслуживающих его экономических механизмов. Ведь что такое соблазн? Это провокация, в которой субъекту предлагается удовлетвориться запретным, что максимально интенсифицирует его желание. Если, как это характерно для детабурированной ситуации (осмысленной в рамках аналитики постиндустриального синдрома, но, безусловно, характерной для детабурирования вообще), не субъект властвует над желанием, а желание — над субъектом, то интенсификация желания просто уничтожает субъекта посредством его поглощения — так соблазн уничтожает человека, растворяя субъективность в своей реализуемой практике, перманентно воспроизводящей себя. Принимая во внимание масштаб гастрономических соблазнов сегодня, в силу их универсальности и актуальности для каждого, можно сказать, что именно они становятся отличным способом поглощения субъекта. На уровне общей психологической и социокультурной проблематики это проявляется в виде озабоченности телесными идеалами, отвращением к ожирению и абсолютиза-

цией худобы, на уровне гастрономической культуры — диетическими предписаниями, совмещенными с бесконечными риториками на страницах глянца и популярной литературы — как и что есть, с кем есть, как готовить и т.д.

Реальность растабуирования и новый стандарт телесности

Норма телесности всегда опиралась на актуальные гастрономические практики. То, что мы наблюдаем сегодня, вносит противоречие в эту устойчивую связь, так как, с одной стороны, худое тело представляет действительно безусловную ценность и является по меньшей мере дополнительным бонусом в высококонкурентной среде; с другой стороны, перманентные соблазны, побуждающие к интенсивному потреблению пищи и подтверждение социальных связей, осуществляющееся в обстановке совместных трапез, предрасполагают, напротив, к лишнему весу и полноте. В этом плане худоба несет в себе не только традиционные смыслы (лучше всего, на наш взгляд, выраженные в трактате Порфирия «О воздержании от мясной пищи», где автор предостерегает от обильного питания, ибо оно *превращает душу в тело*), но и обрывает новым качеством неподвластности официальным риторикам желания (есть) и одновременно позволяет ей выступать желанным объектом — в худом теле сконцентрирована большая степень побежденного желания и, следовательно, власти. Именно процессы растабуирования, выражающиеся в отмене абсолютности закона (в том числе и в проанализированной выше отмене закона, который нормирует гастрономическое) и воцарении игры правила утверждают и господство соблазна. Если нет закона, то можно все, с любой моральной меткой и с любыми последствиями, которые по определению будут носить игровой характер. Поэтому в определенном смысле появление «фаст фуда» как культурно нейтральной пищи связано с процессами растабуирования — если инцест утверждает абсолютность соблазна (как удовлетворения желания вне всяких рамок), то, в отношении гастрономического, это означает устранение всякого культурного авторитета, нормирующего культуру еды, т.е. границы приемлемого в ней и соответствующего регламентированному удовольствию и, наоборот, неприемлемого. Культурный авторитет в «фаст фуде» выступает действительно в нейтральной позиции: он не обозначает границы дозволенного и недозволенного — дозволено все, что было прорекламировано как съедобное. А съедобным оказывается все то, прошло предварительную анонимную обработку пищевыми технологиями и приобрело определенную форму, которая позиционируется как пригодная к съедению. Пищевые хорроры современного человека, как правило, принимают вид боязни неожиданно съесть даже не то, что не поощряется культурным авторитетом (такой страх характерен для традиционной гастрономической культуры), но то, что потенциально может скрытым образом негативно повлиять на антропологическую идентичность — пищевые хорроры, связанные

с «фаст фудом», локализируются как страх перед съедением чего-то неизвестного, но, тем не менее, разрешенного⁹. Так преодолевается различие (отсутствие бинарности закона и его отсутствия) и воцаряется инцестуозно-каннибалистическая реальность с ее игровыми, легко устранимыми и преобразуемыми под влиянием момента правилами — реальность игры, где все дозволено при соблюдении формальных правил. В такой реальности желание не купуруется, преобразаясь в символические формы и образуя символическое пространство культуры, а, наоборот, произрастает и расширяется в максимально несублимированном виде. Означает ли это расширение реальности — если символическое упраздняется? Следует предположить, что нет, так как реальное существует в полагании себя в связке с символическим. Скорее, это означает трансформацию и реального и символического в единое пространство симуляции, что и наблюдается в современном обществе потребления.

Но вернемся к стандартам телесности, связанным и с симулятивно меняющимся гастрономическим. Как было отмечено, их основная антиномия заключается в одновременном существовании идеала худобы — минимума плоти как безусловной ценности; и латентного призыва к максимизации телесности, заключенного в соблазне перманентного пищевого потребления. Идеал худого тела имеет глубочайшие культурные корни — это не только состояние плоти, предоставляющей максимальное пространство для души, но и статус человека, преодолевшего зависимость от эмпирической реальности, практически иллюстрация к «мир ловил, но не поймал». Но эти культурные коннотации преодолеваются в новом идеале гастрономического потребления и порождаемой им нормы тела — это образ худой модели, с аппетитом поедающей «фаст фуд», преимущественно формата Макдональдс — гамбургер и кока-кола. Такая картина не просто порождение гламурного сознания, презентированного на страницах глянца, а символ новых отношений человека с пищей, в которых она не имеет над ним власти, не оказывает влияния на состояние его тела и души, а выполняет только одну функцию — доставляет удовольствие и отражает лояльность к доминирующим ценностям молодости и красоты, над которыми ничто не властно.

Смерть гастрономического?

Несмотря на такой идеал телесности, постулирующий отсутствие влияния гастрономической культуры на идентичность человека, это влияние не утрачено, а, наоборот, приобретает все более тонкие и латентные формы. Пища как материальный субстрат является носителем не только изначально заключенных в ней природных значений, но и всех тех смыслов, которые могут быть записаны в процессе ее обработки. Пространство ее потребления, т.е. все практики, связанные с организацией трапезы и отношениями с сотрапезниками, также

оказывают влияние на идентичность. Гастрономические практики в целом – это, по сути, важнейший конструктор антропологической идентичности и вариантов ее интерпретации – национальных, социальных, культурных, семейных и т.д. Поэтому сфера гастрономического является и сферой наиболее неявных и эффективных дисциплинарных стратегий, что отражается именно в сегодняшнем ее состоянии, ведь история уже показала, что использование гастрономических практик в качестве явного и жесткого дисциплинирования приносит только кратковременные дивиденды. Гастрономический проект утопий (практически во всех известных утопиях в той или иной степени речь идет о необходимости регламентации частного гастрономического пространства со стороны способного к тотальной рационализации государства), реализованный в так или иначе утопическом пространстве сталинской России, показал, что иницилируемые извне и насаждаемые насилем изменения приводят к сопротивлению со стороны человека, пытающегося защитить свое частное пространство и воспрепятствовать проникновению в него власти на самом интимно-телесном уровне – посредством пищи¹⁰. Выпустив в 1939 г. самую знаменитую кулинарную книгу всех времен и народов «Книгу о вкусной и здоровой пище», советская власть признала только частичный успех проекта по преобразованию гастрономической культуры человека новой коммунистической формации. Зафиксированное на обложке книги «Наркомпищепром – домашней хозяйке» засвидетельствовало передачу организации гастрономических практик обратно в семью, пусть и в виде дара со стороны заботящейся обо всем власти. Однако следует обратить внимание на следующий момент: книга информирует читателя не только о грамотной организации домашнего питания, но и о достижениях советской пищевой промышленности – с пафосом, с восторгом туземца, обмирающего подле блестящей упаковки чипсов, рассказывается о передовом производстве лекарственной пищи¹¹, полуфабрикатов, экономящих время трудящегося, о возможностях всех тех манипуляций с едой, которые уже с сегодняшней точки зрения не могут быть оценены положительно. Моменты, когда постулируется необходимость возвращения домашней кухни и когда ведется рассказ о взлете и перспективах советской пищевой промышленности, совпадают, и, как следует предположить, не случайно. Именно пищевая промышленность, создавшая пищу типа «фаст фуд» и навсегда изменившая структуру гастрономической культуры, создала условия для иного, так называемого *мягкого* дисциплинирования, при котором человек добровольно выбирает то воздействие на него, против которого он неизбежно протестует в ситуации жесткого дисциплинирования. Как ни настаивало государство на ликвидации частной кухни, люди стремились организовать собственное пространство трапезы даже в скученных коммунальных условиях, потому что индивидуальный

и семейный приемы пищи оказались способом очертить личные границы и остаться в ситуации соотнесенности с собой, а не с общественным и политическим. Практики же «фаст фуда» легко, почти играючи вывели человека за рамки семейной трапезы, ценностно переакцентировали еду — из пищи превратив в корм. Они способствуют формированию идентичности в рамках инфантильности, пассивности — отсюда феномен кидалтов (взрослый человек, сохраняющий свои детские и юношеские увлечения), так как существует базовое различие детского и взрослого питания: взрослый готовит и ест сам, ребенка же кормят. Эти практики разрушают семью, целостность которой связана с практиками семейных трапез и приготовлением пищи дома. Производство и потребление «фаст фуда» ставит вопрос и о нарушении антропологических границ, так как нетипичное и неконтролируемое изменение состава пищи, возможность внесения в нее ранее недоступных изменений, приводят к такой ее трансформации, которая разрушает базовые культурные коды обращения с едой: пища своя — чужая, человеческая — нечеловеческая, неканнибала — каннибала. Присущая традиционной гастрономической культуре власть закона (выраженная в необходимости разных форм нормирования на всех стадиях приготовления пищи — от предкулинарной до собственно гастрономической) сменяется игрой правила, которое ничего не гарантирует. То же самое можно утверждать и о процессах детабуирования, расшатывающих самую основу человеческой культуры вообще.

Проведенный анализ гастрономической культуры носит характер гипотезы в отношении современного состояния гастрономического, а также демонстрирует возможности философского осмысления самых недоступных и якобы неактуальных для философии лакун человеческого существования. Гастрономическая культура не только оказывается маркером многочисленных социальных, культурных, экономических, исторических, политических и т.д. процессов, но и выступает своего рода границей сохранности и подлинности бытия.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Гастрономическая культура состоит из предкулинарного, кулинарного и гастрономического порядков, а также гастрономической рефлексии, которая, в свою очередь, делится на три уровня: кулинарная книга как репрезентант гастрономической культуры, рефлексия над гастрономическими средствами отдельной дисциплины и, наконец, философская концептуализация, которая вскрывает всю глубину и значение гастрономического как особой части человеческого бытия.

² Ж. Бодрийяр весьма точно и убедительно противопоставляет правило закону. При отсутствии закона актуально не беззаконие, а правило — в качестве правила игры, легко изменяющееся и по сути имеющее характер весьма условного ограничения, которое, тем не менее, необходимо для поддержания иллюзии закона.

³ Действительно, в антропологических исследованиях фиксируются практики ритуального каннибализма как маркера статуса власти в некоторых примитивных культурах. Такие практики заставляют предположить, что табу на каннибализм может быть весьма желательным, но не необходимым для эволюции. Одна-

ко примитивные сообщества, эти островки социального, так и остаются в круге перманентного воспроизведения однажды достигнутого, слегка превзошедшего природное, культурного уровня.

⁴ *Бодрийяр Ж.* Символический обмен и смерть. – М., 2000. – С. 251.

⁵ Там же. – С. 252.

⁶ Поэтому существовало понятие священного инцеста, поскольку он служил средством воспроизводства тождественного не только потому, что замыкал кровь в структуре родственных уз, не привнося ничего иного, но и потому что устанавливал границы существующей онтологии в качестве всегда тождественной себе.

⁷ *Улыбина Е.В.* Инцестуозная реальность детства в современной культуре // Мир психологии. 2002. № 1. – С. 36.

⁸ Закон и правило соотносятся с табу и растабуированием – сохранение табу возможно посредством закона, который обеспечивает абсолютный характер табу; растабуирование начинается, когда отменяется закон и вступает в силу флуктуирующее по своей природе правило.

⁹ Примером может служить массовая истерия в США, инициированная просочившейся в прессу информацией о том, как кормят скот, который затем и становится основой для гамбургеров в Макдональдсе. Наибольший резонанс был вызван тем фактом, что павший скот в переработанном виде становится пищей для остальных коров – так, опосредованно, потребитель «фаст фуда» съедает плоть животного, питавшегося по каннибалистическому сценарию. Вполне закономерно, что в такой ситуации потребитель задался вопросом о том, что происходит с его идентичностью в результате такого потребления. Этот частный случай указывает на специфику потребления анонимной еды в форме «фаст фуда».

¹⁰ Ф. Перлз в известном исследовании «Эго, голод и агрессия» выдвигает идею о возможности формирования предрасположенности к усвоению любых идеологических риторик на гастрономическом уровне – дело только в соответствующей организации практик потребления пищи.

¹¹ Наиболее подробно идея лекарственной пищи описана в «Новой Атлантиде» Ф. Бэкона. Автор пытается представить пищу как наиболее обработанную технологически и, следовательно, максимально служащую человеку.

Аннотация

В статье рассматривается эволюция гастрономической культуры, табу на каннибализм как ее базовый культурный код, а также онтологические характеристики и культурные смыслы этого табу. Какие трансформации претерпевает гастрономическая культура сегодня? Почему «фаст фуд» является опасной пищей? Какие базовые гастрономические страхи преследуют современного человека? Поискам ответов на эти вопросы посвящена данная статья.

Ключевые слова: гастрономическая культура, табу, каннибализм, инцест, «фаст фуд», власть, телесность.

Summary

The article examines the evolution of gastronomic culture, taboo against cannibalism as its base code, ontological characteristics and cultural meanings of the taboo. What kind of transformations occurs with gastronomic culture at present time? Why fast food is a dangerous food? What kind of base gastronomic fears has a modern man? The article looks for answers to these questions.

Keywords: gastronomic culture, taboo, cannibalism, incest, fast food, power, corporeality.